

Леонид Зуров. Повесть *Кадет*: вариант финала*

Людмила Спроге

◇ eSamizdat 2014-2015 (X), pp. 111-116 ◇

ПРОБЛЕМЫ текстологии художественных произведений Леонида Федоровича Зурова (1902-1971) лишь недавно привлекли внимание исследователей¹. Повесть *Кадет*, которая сделала литературным именем секретаря рижского журнала *Перезвоны* (1925-1928), и дала имя первой книге, изданной в издательстве Саламандра в 1928 г., в том же году первоначально была опубликована в “газетном формате” ежедневного периодического издания *Слова* с 19-го августа по 11-ое сентября.

В контексте книги, состоявшей кроме повести из восьми самостоятельных сюжетов (*Город*, *Плевок*, *Студент Вова*, *Смерть князя Данила*, *О городе и крепостице Санктпитебург*, *Последний поход*, *Тот уголок земли*), *Кадет* обретал дополнительные смыслы. Принимая во внимание, что композиция книги Зурова не случайно строится на чередовании “исторических”, “мифологических” и “современных” сюжетов, повесть о недавних событиях — революции и гражданской войны, — ураганом прошедших через судьбы ее героев, проецировалась на знаки и символы этих кон-

текстных рядов. О смысловой общности книги свидетельствуют и пространственные сигнатуры. Здесь наблюдается достаточно четкая фиксация топографических знаков, где “прошлое” и “современное” трансформируются в пространственные номинации². Если в повести пространственный вектор от периферии (имение Липки) направлен к центру (Ярославль, Белозерск, Петроград, “полуевропейская” отчужденная Рига), то в рассказах сборника вектор от центра смещается на периферию: неназванный Ревель (*Город*), глухой пригород неизвестного города (*Плевок*), Нарва (*Студент Вова*); в “исторических” сюжетах — древние Суздаль и Владимир, строящиеся городок и “крепостица” *Санктпитебург*, Альпийский локус (*Последний поход*) и, наконец, финальный рассказ *Тот уголок земли*, где “псковская старина” с усадьбами (“Тригорское”, “Михайловское”) представлены в системе других “пространств”, хранимых в творческой памяти “сильного поэта” Пушкина, — знаковыми локусами Петербурга (“памятник Петра”, “Петропавловская крепость”, “барки на Неве”) и далекой “ослепительной Тавриды” (“тихий плеск морской волны и яркие звезды Юрзуфа”, “Чатыр-Даг”, “Аю-Даг”, “кипарисы”, “горная лестница”). Маркированная оппозиция “север — юг” повлияла на сюжетные коллизии рас-

* Статья написана в рамках проекта “Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway (Nr. NFI/R/2014/061)”.

¹ См.: статью И.З. Белобровцевой, “Видно, моя судьба, что меня оценят после смерти”, *Звезда*, 2005, 8, с. 52-60, посвященную реконструкции “поздней” повести Л.Ф. Зурова *Иван-дамарья*, архитектонике произведения и возможной последовательности эпизодов и её же публикация о “каноническом” тексте *Каде́та*: “И.А. Бунин-редактор: Об окончательном (каноническом) тексте повести Л.Ф. Зурова *Каде́т*”, *Slavica Revalensia: Periodica Universitatis Tallinnensis*, 2014, 1, с. 44-63; о сюжетно-событийном движении в соответствии с последовательностью глав повести см.: А.В. Громова, В.Т. Захарова, *Жизнь и творчество Л.Ф. Зурова. Монография*, Москва 2012, с. 58-70.

² См.: в одноименной повести “лифляндские топосы” — Юрьев (Тарту), Рига и происходящее на глазах персонажей повести “изменение” — “отчуждение” этих городов — ср.: “это был презрительный, полуевропейский город-торговец, желающий походить на джентельмена [...] Мите город показался чужим” (с. 68; ссылки на тексты Л. Зурова приводятся по изданию с указанием страниц в тексте статьи: Л. Зуров, *Каде́т*, Рига, 1928) и далее, в следующем сюжете под характерным заглавием *Город*, где в безымянном городе на море различим Ревель с “лживым светом фонарей, чужой и холодный” (с. 102) и т. п.

сказа, смысловые антитезы акцентируют топику сосланного в Михайловское поэта. Вместе с тем “свое”, “родное” воспринимается через посредничество “чужого”, “экзотичного”, “далекого”:

Береза северная, такая родная береза [...] северянка милая. Сердце тогда сжалось. Сороть, перелески псковские, глушь и шаг коня. И хотя ослепительная Таврида раскинула бирюзовое море, виноградники и кипарисы, он не мог отвести глаз от белых шелушек. [...] Среди ночных шорохов усадебной тишины, он вздохнул от нестерпимой боли одиночества и подумал, что вряд ли кто-нибудь помнит, что в России есть Псковская губерния, а в ней страдающий ссыльный поэт (с. 174).

Помимо топографических знаков обращает на себя внимание система цитатных формул – большинство текстов в книге Зурова снабжены эпиграфами: к повести выбран куплет из русской народной песни (“Молодость, молодость, приятная молодость // А чем-то мне молодость мою вспомнить? // Вспомяну тебя, молодость, тоскою-кручиною, // Тоскою-кручиною, печалью великою...”)³; к рассказу *Город* – цитата из романа Достоевского *Братья Карамазовы*; к *Смерти князя Даниила* – из повести конца XVII века *О зачале царствующего града Москвы* (повесть о Данииле и Улите); к рассказу *О городе и крепостице Санктпетербурге* – фрагмент из Русских Ведомостей 1703 года о первом наименовании будущей столицы Российской империи; *Тот уголок земли* – строка из варианта пушкинского стихотворения *Вновь я посетил*. Эти смысловые индексы влияют на целостность книги, составленной из автономных сюжетов. “Осколки” чужих текстов способствовали обретению “своих” принципов построения художественного текста книги: ассоциативная цепочка концепта “молодость” прослежива-

ется как на уровне микроконтекстов отдельных произведений (отсюда – семантизация цитатной сентенции из романа Достоевского, связанная с возрастом персонажей и повести *Кадет* и рассказов *Город*, *Плевок*, *Студент Вова* и др.: “но я одного русского мальчика, Алешку, ужасно люблю”), так и на уровне контекстуальной синонимии, где “молодость” “русских мальчиков” и “молодость” двух будущих столиц – Москвы (*Смерть князя Даниила*) и Санкт-Петербурга (*О городе и крепостице Санктпетербурге*) соотносима с эмоциональным комплексом повествования, идущего от народной песни, с детализацией суггестивного подтекста “молодости” как “кручины” / “печали великой” до пушкинского классического произведения о “неопытной младости” и “горько кипящих чувствах” (*Тот уголок земли*)⁴. Вместе с тем выход книги, которая была весьма позитивно встречена русским зарубежьем⁵, не прервал воплощения авторских замыслов над повестью *Кадет*. Проблемой становится финал текста. Уже в первом произведении большой формы наблюдается такая особенность повествовательной фактуры у Зурова как незавершенность⁶. В книге 1928 г. повесть завер-

⁴ Эпиграф из черновой рукописи стихотворения *Вновь я посетил*... где в начальной строфе акцентирован мотив изгнанничества (“Тот уголок земли, где я провел // Изгнанником два года незаметных”), привлекает Зурова мотивом “неопытной младости”, “утраченной в бесплодных испытаниях”. В эпиграфе к рассказу пушкинская цитата приведена неточно: у Пушкина – “И бурные кипели в сердце чувства” (А.С. Пушкин, *Собрание сочинений в десяти томах*, Москва 1974, II, с. 610).

⁵ П. Пильский, “Три молодых беллестриста. (М. Бабченко, Л. Зуров, Н. Рошин)”, *Сегодня*, 3 октября 1928, с. 3; Ю. Айхенвальд, “Литературные заметки”, *Руль*, 10 октября 1928, с. 5; Вл. Ладженский, “Дети революции. (О книге Л. Зурова *Кадет*)”, *Слово*, 6 января 1929, с. 4; Н. Мишеев, “*Кадет*, Отчина Л. Зурова”, *Слово*, 12 мая 1929, с. 6; См. также: И.З. Белобровцева, А. Рогачевский, *В тени Бунина: Александр Амфитеатров о Леониде Зурове*, ред. И. Белобровцева, С. Доценко, Г. Левинтон, Т. Цивьян, Таллин 2004, с. 145-166; И. Белобровцева, Р. Дэвис, ““Предчувствие мне подсказывает, что я недолгий гость”: Переписка И.А. Бунина и Г.Н. Кузнецовой с Л.Ф. Зуровым (1928-1929)”, *И.А. Бунин: Новые материалы*, Сост. и ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса, Москва 2004, Вып. 1, с. 232-284.

⁶ В исследовательской литературе уже обращалось внимание, что “незавершенность” у Зурова – это “общая модель построения текстов” (И.З. Белобровцева, “Леонид Зуров – писатель-эмигрант, которого нельзя назвать ‘эмигрантским писателем’”,

³ Зуров приводит первый куплет старинной русской песни, в этой связи интересно отметить следующее: в газете Слово существовала постоянная рубрика “Из песен и сказок Латгалии”, где публиковались фольклорные материалы из собрания местного педагога и фольклориста Ивана Фридриха. Песня *Молодость* была опубликована на той же полосе газеты, где была помещен фельетон Зурова *Утро в Режице. Из дорожной книжки*. Латгальский напев *Молодости* – один из вариантов сюжета песни о нерадостных воспоминаниях молодости: “Эх, ты, молодость моя молодецкая, // Не видал я тебя, когда ты прошла, // Прощла, миновалася...”, *Слово. Большая русская национально-демократическая газета*, 16 января 1927, с. 4.

шается 30-той главкой (по формату она отличается от предшествующих глав своей краткостью), в которой рассказывается, как по черным волнам Балтийского моря, слившегося с вечерним небом, от места, где

стояли расцвеченные огнями иностранные корабли, [...] ветер доносил тихую медь английского гимна [...] Митя вспомнил Россию, мать, Ярославль, разбитый железнодорожный полустанок, и шумевший в березах ветер [...]. Он вздохнул и снял руки с перил. На корме пулеметчики пели:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И как один прольем
Кровь молодую.

— Смело мы в бой пойдем, — тряхнув головой, подхватил Митя, и сердце его дрогнуло. С моря веял ветер. Он был крепок и свеж, и Мите хотелось, вскинув голову, отважно пойти ему навстречу (с. 90).

Через несколько месяцев после выхода в свет своей первой книги Зуров публикует в Слове (ставшим к этому времени еженедельником) рассказ с выразительным названием *Конец Дмитрия Соломина*, который появляется на полосах газеты в 1929 г. 20, 27 января и 17 февраля. В публикации нет никаких пояснений и указаний на недавно вышедшую книгу *Кадет*, где в одноименной повести фигурирует центральный персонаж Дмитрий Соломин. Что означает эта публикация, — одну из возможных моделей фина-

ла повести или автономный рассказ, так сказать, “параллельный” по отношению к повести, созданный в рамках характерной для Зурова темы гражданской войны, наподобие рассказов *Выручка* (1927), *Герой* (1929) или более позднего рассказа *Как отдавали Псков* в публикации (1934)⁷, представлявшей фрагмент из романа *Древний путь?* Ясно лишь одно: после публикации повести в газетном формате, после недавнего издания первой книги, вряд ли Зуров дал бы в ту же газету несколько “черновых” фрагментов из повести, которая постепенно набирала популярность. В своем построении рассказ рубрицирован, в его частях как бы “восстановлен” опущенный фрагмент фабулы о том, как складывалась судьба ефрейтора Дмитрия Соломина — добровольца отряда Светлейшего князя Ливена. С одной стороны, — этот рассказ может восприниматься как завершение причинно-следственной линии повести, это — ответ на вопрос: навстречу чему, “вскинув голову, отважно” (с. 90) пошел кадет Митя? С другой стороны, рассказ в газете — это самостоятельное от повести, но близкое ей по сюжетике произведение, которое по принципу повествовательной структуры было сконцентрировано на кульминационном эффекте “молодости” героя — героической борьбе в рядах Добровольческой армии, нравственной высоте и драматической развязке исторических событий, через которые, пройдя, кадет горестно констатирует:

Кончена война, кончена молодость. [...] На фронте еще стреляли. Редкие малиновые вспышки трепетно рождались и погибали, опаяя островерхий лес. Митя шел, выбрасывая из открытого подсумка ненужные ему больше патроны (*Слово*, 17 февраля 1929, с. 6).

В рассказе изменена топика событий: Рига — пункт призыва добровольцев в повести — в рассказе лишь упомянута как город, ждущий военной подмоги. Основные “закадровые” события ротной жизни Мити в рассказе связаны с Либавой (Лиенай), позже — с прифронтовым российско-эстонским пограничным локусом. Выбор мест действия в рассказе ограничен (что естественно), авторское “равнодушие” к

“В рассеянии сущие...”: Культурологические чтения “Русская эмиграция XX века”, Москва 2006, с. 187). В связи с этим любопытны некоторые фрагменты писем А.И. Куприна к Л. Зурову, где писатель старшего поколения сначала отметил несомненное мастерство автора *Кадемта* (ср.: “у Вас прекрасное начало [...] середину нужно было бы сделать гуще и выразительнее, хотя все-таки хорошо. Конец прискорбен, но отличен”), а после, солидаризуясь со своим другом, критиком П.М. Пильским, указал на схематичность финала: “Митя [...], собрав всю волю и энергию, едет искать настоящих непоколебимых борцов. Это только схема”, — и в целом — на “неоконченность” событийной канвы: “Митя у Вас, действительно, повисает как-то в воздухе, точно не договорив начальной фразы” (цит. по И. Белобровцева, “О том, как писались и не писались предисловия: Письма А.И. Куприна Л.Ф. Зурову”, *Stanford Slavic Studies*, 2014, 46, pp. 359–368). Любопытен в данной связи фрагмент из частной переписки 1929 г. И.С. Шмелева и И.С. Ильина о вышедшей книге Зурова: “Зуров имеет талант; но мало рассказывать, надо еще иметь — что сказать. А ему пока мало что есть сказать. Похвалы же преждевременные и не наставительные, не критические, а партийно белые — только испортят его” — и “Относительно Л. Зурова Вы правы. Надо иметь — что сказать. Пока нет у него. Но — будет. Подрастет, Бог даст” (И. Ильин, И. Шмелев, *Переписка двух Иванов (1927–1934)*, Москва 2000, с. 125, 128).

⁷ Л. Зуров, “Как отдавали Псков”, *Для Вас*, 1934, 9, с. 2.

антуражным описаниям согласуется с “сжатым” форматом малого жанра и об окружающем героя пространстве сказано скупно. Сезонное “обрамление” рассказа подчеркнуто лапидарно, без игры метафор по сравнению с пейзажными описаниями в повести⁸. В рассказе фиксируются лишь два временных сезона — осень и зима:

Стоял осенний, без блеска, солнечный денек с холодным ветром [...] Даль была просторна и ясна. [...] Еще не было снега, лишь серебристо курчавилась тронутая морозом трава да грунтовая, с потяжелевшей пылью дорога позванивала под ногами. [...] Утром, проезжая через Гатчину, Митя увидел первый выпавший снег (*Слово*, 20 января 1929, с. 4).

Если проследить постепенное мотивно-тематическое развертывание в повести, то очевидно хронологическое развитие событий на протяжении всех тридцати глав. В повести главы имеют римскую нумерацию и иногда порядок глав “сбивается”: после XIV-ой главы следует XVI-ая (с. 40-41), после XVIII-ой — под тремя типографскими звездочками “спрятана” XIX-ая глава, а в следующей XX-ой и XXI-ой — три “звездочные” рубрикации выделяют “протокольный” по краткости перечень событий, после чего следует XXII-ая глава. Даже если предположить технический дефект в печатании книги, в нарушении порядка глав и разных способов их рубрикации (по цифровому принципу и по “звездочкам”), то несомненным будет и такая особенность в “цепочке” событий, как “развернутый”, подробный план представления происходящего и, наоборот, — “сворачивание” или “пропуск” ряда эпизодов. Такая архитектура соответствует хронологии персонажа: исторические катаклизмы происходят в период, когда Митя проживает год от пятнадцатилетия к своему шестнадцатилетию (см. XXVII-ую главку повести, где герой волнуется,

что его не запишут волонтером в ливенский отряд: “Ведь мне только семнадцатый год” (с. 84)⁹.

Релевантный к нарративу повести рассказ *Конец Дмитрия Соломина* состоит из 11 частей (с обозначением каждой из них арабскими цифрами) в следующем событийном развитии: 1. неудача похода на Петроград, ранение Мити, который “понял, что Петербурга они не возьмут. Эта мысль была тяжелее раны. . .”; 2. с Красносельского вокзала в товарной теплушке вместе с другими ранеными Митя отправлен в Ямбургский госпиталь, куда приходит проведать солдат генерал Юденич, “седоусый старик, переживший свою славу”; 3. партия раненых с Митей эвакуирована в эстонский госпиталь в Юрьеве; 4. пьяный эстонский солдат, узнав что Митя — “ливец”, ударил его в раненую грудь, спор с эстонским врачом, вердикт медицинской комиссии об отправке в Нарву (“пусть с ним северо-западники нянчатся”), помощь матери капитана Эголина, забравшего ослабевшего Митю из госпиталя: “Я сама эстонка, и мне стыдно, стыдно. . .”; 5. Юрьевский вокзал, где стоял бронепоезд, отправлявшийся на защиту Риги, Митю посадили на поезд, уходивший в Нарву; 6. Ивангородский этап, конфликт с офицером-интендантом, выручка Мити комендантом, письмо из Ревеля от матери, знакомство с “ливцем” юнкером Паниным, разуверившимся в отличие от Мити, в Белом походе: “не знаешь с кем воевать, с красными или против своих же подлецотыловиков”; 7. Митя и Панин вернулись каждый в свой строй, столкновение с офицером из хозяйственной части; 8. Штаб дивизии, седоусый полковник, пристыдивший офицера-хозяйственника и помнящий ливенца Дмитрия Соломина по Риге; 9. возвращение в свою роту, расформированную,

⁸ Ср. с началом повести: “Ветер, настоенный на влажной от росы зелени сада, врывается в комнату, паруся белые занавески. Солнечные четырехугольники осторожно ползли по полу, карабкались по ножкам столика, чтобы, встретив на пути графин, радужно расколотся на его гранях. [...] Яблонный сад сбегал к обрыву. Меж двух старых дубов розовело дрожащее под солнцем озеро, и были видны прибрежные пашни, вползавшие на горку, с которой по праздникам белая колокольня посылала легкие волны неторопливого чуть дребезжащего звона” (с. 7).

⁹ Примечательно, что с начала повести акцентируется возраст центрального персонажа (ср.: II-ая глава завершается пассажем: “И она [мать Мити — Л.С.] со сладким замиранием сердца думала, что сыну уже исполнилось пятнадцать лет” (с. 8). В следующей главе представлена завязка действия — поджог мужиками усадьбы Соломиных и получение Митей письма, которое поспособствовало его возвращению в Ярославский кадетский корпус, с этого эпизода развитие сюжетного действия в повести динамизируется.

так как с последнего боя вернулись лишь пять человек, офицеры Фогель и Красовский, с которыми был вместе в Риге и в Либаве; 10. солдат Кожухов рассказывает о побеге бойцов из роты в отряд красноармейцев, в подчинении у Мити “чужие” — четыре башкирца и деревенский парень — и все надо было начинать сначала, как в Либаве, в Луге; 11. ночью из роты сбежали Баранов и Кожухов; бой, гибель юнкера Панина; башкирца, который целился Мите в затылок, застрелил курсант; отступление на несколько верст; сон Мити о тех, кто уже с ним нет; возвращение через эстонский пост в Нарву, на требование сдать оружие, Митя разбивает о телеграфный столб свой карабин и, шагая по Нарвскому шоссе, “выбрасывает ненужные ему больше патроны”.

Как и в повести, в нарративе рассказа усилен эффект “промежутка времени”, когда происходят рассказанные события; в рассматриваемом тексте это “две недели”, существенно изменившие мир вокруг Мити и его самого: “Как странно, — подумал он, — на две недели отбыл из полка и всё сразу другое, — стало печально” (*Слово*, 3 февраля 1929, с. 6). “Две недели” — время не только потери близких людей, своей роты, но и исчезновения особого эмоционального мира и убежденности в верном пути, в высокой идее ратного подвига:

Первым делом прапорщик начал жаловаться, — эх, Соломин, тут теперь совсем по-другому воевать нужно. Выбирай, ни выбирай позицию, а все равно — или тебя с нее съедят, или в плен заберут [...] и перебегают теперь к красным часто. Я больше солдатам не верю. Люблю их, Соломин, а не верю, — сказал Фогель, покачав головою, и вздохнул. — Которым можно было верить — все уже ноги протянули. И напрасно ты, Соломин, обратно явился, — скажу тебе не как старший, а как друг, [...] ну и разделили же тебя в госпитале, что ж вас там не кормили? (*Слово*, там же).

О напрасном возвращении из тыла на передовую, в очаг гибельных боев, Митя слышит от каждого встреченного им солдата и офицера, даже идущий на верную гибель юнкер Панин бросает ему:

В общем, наша карта бита [...] Вы верите, что кто-нибудь нам придет на смену? [...] А я, кадет, не верю [...] И устал... (*Слово*, там же).

Характерно и начало рассказа, где говорится о гибели дорогих Мите людей и о безнадежности похода:

За поход многих выбило, и иногда во время переключек Митя замечал пустые места в строю и узнавал, кого они навсегда потеряли. С отсутствием Степы Митя не мог примириться. Близость друга была ему нужна, и иногда, забыв, что Степы уже нет, он окликал его. С отсутствием друга, казалось, росла незаполненная пустота их рядов. Когда в строю говорили о близком Петербурге, Митя уверенно подтверждал: “возьмем”, но уверенности у него не было. После Сергиева погоста, когда первый раз за все наступление их цепь, лежавшая на шоссе, откатилась послушной волой, он понял, что их силы таят и с такими силами верить в победу больше нельзя (*Слово*, 20 января 1929, с. 4).

Мотив одиночества героя настойчиво акцентируется в начальных главах, когда он убеждается в бессмысленности продолжать вести свой дневник и в наивности своей веры в грядущее — ср.:

Он елистал страницы, и ему стало грустно при воспоминании о той молодой наивной вере, которую он теперь потерял [...] еще в одном пришлось разочароваться. Во время похода он думал, что все русские люди, как и они — добровольцы, думают ежечастно о движении вперед, что все заняты мыслью об освобождении России. [...] Он, грустя, предчувствовал, что самое светлое в его жизни кончилось там, в Ярославле... он старался не вспоминать — это было очень тяжело, особенно вспоминать об Ане. Он не писал о ней в дневнике, чтобы не растревать душевную боль, но Аня, чистая нарушенная его любовь, которая умерла вместе с его лучшими годами, часто приходила в снах и напоминала о себе ежедневно (*Слово*, 27 января 1929, с. 6).

Своеобразной кульминацией в нарастающей рефлексии персонажа¹⁰ становится митин сон, где все живы и где незабываемыми остаются недавние убеждения молодого воина; в структуре рассказа сон предшествует увольнению от военной службы и резкому последнему жесту ефрейтора Соломина:

И приснилось Мите, что он снова в Либаве. Блещет вдали зеленое море, желтые пески пляжа горячи, круглое и большое солнце стоит в небе, а они сидят за столиком в кургаузе: он, Таубе, Субботин и юнкер Панин, и пьют они пиво... А

¹⁰ В *Кадете* рефлексия у центрального персонажа практически отсутствует, герой принимает решения по совету, по приказу, а не самостоятельно, это качество лишь начинает развиваться в его характере после сознательного решения стать “ливенцем”; повествовательная стратегия повести проявляется в четкой смене ситуаций и событий, где витальное пространство героя обозначается его переходом от одной ситуации к другой.

юнкер, облокотившись, с тихой улыбкой слушает, что говорит Степа, и брови у юнкера не дугой, а сведены у переносицы легкими стрелками, а Степа, голубоглазый, с подсумками на ремне, что-то рассказывает, смеется, а рассказывает он про то, как они сейчас куда-то поедут. Мите радостно, легко у него на душе, а поедут они куда-то безумно далеко — по Балтийскому затихшему морю, и белый, как снег, транспорт, убранный флажками, ждет их, и музыка играет какой-то странный медленный вальс. Да, Митя знает этот вальс, он слышал его на выпускном вечере в Ярославской гимназии, только здесь трубы тоньше. И определенно можно морем через Волгу на транспорте — это он знает. И Ярославль теперь весь на горе, обнесен белой стеной и позолочены заново его купола. А будет там что-то счастливое, чего он ждал всю свою жизнь и что теперь приоткрылось, они все будут счастливы, и всегда будут вместе. И нужно только скорее пиво допить. И Митя глотает, глотает, а пиво все тягучее и тягучее. Оно давит и колет грудь и заливают горло (*Слово*, 17 февраля 1929, с. 6).

В фантастической сюжетике сна как бы зафиксирован (с легкими пародийными нюансами) финальный эпизод повести *Кадет*, где судно под “тихую медь английского гимна”, а во сне —

“странного вальса”, — уносит Митю и его сослуживцев по кажущемуся в ночи черным Балтийскому морю на борьбу “за Русь святую”, но пафосный, героический финал повести не вписывался в жесткие будни смертей, измен и отступлений, которые сформировали иного, более соответствующего жизненной правде Дмитрия Соломина. Вряд ли в замыслы автора входила столь пессимистичная идея для знакового, открывающего первую книгу текста. То, что можно было зафиксировать в “газетном” рассказе, не могло быть заявленным в *Кадете*. Случившееся с любимым персонажем в рассказе круто изменило бы идеологический план *Кадема*. Повесть, несомненно, должна была художественно и правдиво представить светлых героев того поколения, к которым принадлежал и сам Леонид Зуров.